
ДИСКУССИЯ

В ПОИСКАХ КОНСЕНСУСА

(О РЕЦЕНЗИИ С.А. БУРЛАК НА КНИГУ У.Т. ФИТЧА “ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКА”)

Предлагаемая заметка преследует двоякую цель:

1) проиллюстрировать на конкретных примерах спорность некоторых утверждений С.А. Бурлак (пп. 1–3);

2) пояснить, почему рецензируемое издание имеет трехчастную структуру: а) монография У.Т. Фитча; б) послесловие научного редактора, профессора Е.Н. Панова, в котором модульному подходу Фитча противопоставлен холистический подход; в) послесловие составителя серии переводов А.Д. Кошелева, в котором, в частности, подвергается сомнению одно из главных положений У.Т. Фитча о том, что новую теорию языка, преодолевающую антагонизм существующих теорий, можно составить из частичных истин этих теорий (п. 4).

1. Эволюция языка: градуальность или скачкообразность? У.Т. Фитч в своей монографии [1] последовательно проводит идею постепенности эволюционных изменений, отсутствия в эволюционном процессе скачков. Е.Н. Панов, придерживающийся противоположной точки зрения, в своем послесловии [2] постоянно дискутирует с ним по этому вопросу. В свою очередь, рецензент С.А. Бурлак, разделяющая идеи Фитча, непримирима в своей оценке позиции Панова: “Фитч... все время подчеркивает: то, что мы видим у животных, – это не в точности то, что мы видим у человека, сходство наблюдается лишь в отдельных аспектах. Но именно эти аспекты наиболее интересны в контексте происхождения языка. Панов же, напротив, пытается донести до читателя мысль, что сходства никакого нет, даже в отдельных аспектах, и, соответственно, коммуникация животных не может пролить ни малейшего света на происхождение человеческого языка. Впадая в такую крайность, Панов загоняет себя в тупик единственной возможности: возникновение языка имело скачкообразный характер, язык возник вдруг, на пустом месте и сразу целиком. Но если посмотреть на эволюцию, то так не бывает” [3, с. 61].

Проанализируем этот текст. Во-первых, тезис о том, что человеческий язык возник скачкообразно, разделяет целая плеяда выдающихся ученых: В. фон Гумбольдт, Макс Мюллер, Н. Хомский и др. Хомский считает, что язык мог возникнуть лишь одномоментно [4, с. 59] в результате “одной мутации”, приведшей к “перенастройке мозга” у нашего недавнего предка (подробнее см. далее). А вот что пишет Гумбольдт: “Язык не может возникнуть иначе, как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно всё, благодаря чему он становится единым целым” [5, с. 308]. Приведем, наконец, крылатые слова Мюллера: “Язык – это Рубикон, который отделяет человека от всех прочих животных, и ни одно из них никогда не сможет переступить его <...> наука, изучающая язык, поможет нам противостоять крайним точкам зрения дарвинистов, проведя четкую линию раздела между людьми и животными” [6, с. 270].

Ради объективности рисуемой картины рецензент, мне кажется, должен был упомянуть эти факты¹. Правда, в этом случае получилось бы, что Панов оказался в тупике вместе с Гумбольдтом, Мюллером и Хомским.

1.1. “Ваша теория эволюции языка зависит от вашей теории языка” (Р. Джекендофф). Коснемся теперь тезиса рецензента: “Но если посмотреть на эволюцию, то так не бывает”. Заметим прежде всего, что все перечисленные выше лингвисты были весьма сведущими в теории эволюции. Гумбольдт, как известно, был широчайшим эрудитом в сопряженных с лингвистикой дисциплинах и к проблеме эволюции языка обращался многократно. Мюллер, прекрасно знавший теорию Дарвина, был, пожалуй, единственным его достойным оппонентом, противником “крайних точек зрения дарвинистов” (см. его книгу [6]). Интерес Хомского к проблемам биологической эволюции также общеизвестен, см., например,

¹ Они, кстати сказать, приводятся в моем послесловии к книге Фитча [7, с. 707], а также в монографии Панова [8, с. 49].

его недавнюю статью “Некоторые простые тезисы в связи с эволюционной генетикой развития: в какой мере они верны применительно к языку?” (“Some simple evo-devo theses: how true might they be for language?”) [4], в которой проводится глубокая аналогия между ограниченностью разнообразия живых организмов и человеческих языков. Наконец, биолог Панов – автор многих работ по проблемам эволюции (среди последних – монография “Эволюция диалога. Коммуникация в развитии от микроорганизмов до человека” [9]), имеющий 50-летний опыт наблюдений (в природе) и анализа коммуникативных процессов в популяциях самых разнообразных животных. Тем самым, согласно мнению С.А. Бурлак, получается, что не только Панов, но и его единомышленники не понимали: в эволюции подобных скачков не бывает. Поэтому жаль, что, делая столь ответственное и спорное заявление, рецензент не приводит ни одного серьезного аргумента в его поддержку и не дает ни одной ссылки на работы (свои или других авторов), объясняющие, почему “так не бывает”. Единственный аргумент рецензента – ссылка на никарагуанский жестовый язык, в котором “грамматические инновации появляются постепенно”, конечно же не относится к числу серьезных.

Не приводятся в рецензии С.А. Бурлак и аргументы, подтверждающие ее тезис о “постепенности” (градуальности) эволюции языка (имеются в виду научные аргументы, допускающие опровержение в смысле К. Поппера), хотя их вполне можно было бы привести. Для этого, однако, необходимо прежде всего дать определение человеческого языка или объявить, из какой теории языка следует исходить, поскольку в настоящее время в теоретической лингвистике существует целый ряд взаимно противоречивых теорий языка (см. [10])². Как минимум необходимо сформулировать то характерное свойство (одно или несколько), которое отличает человеческий язык от других “коммуникативных систем”. Однако ни того, ни другого рецензент не делает. Наша попытка выяснить позицию рецензента путем обращения к его работам также не дала результата. В своей монографии С.А. Бурлак указывает на одно из характерных свойств языка, называя его “достраиваемостью”: “...ключевым моментом

возникновения языка является превращение коммуникативной системы в достраиваемую” [12, с. 37–38, 45]. Но однозначной трактовки вводимого понятия не дается. Рецензент этой монографии Я.Г. Тестелец отмечает: «Не совсем ясно, что автор имеет в виду под “достраиваемостью”: на с. 65–67, где вводится это понятие, речь идет скорее о способности овладеть языком, сконструировать грамматику на основе неполных данных, но в других местах книги, например, на с. 82, автор понимает это как свойство самого языка, то есть “продуктивность” по Хоккету. Также не вполне ясно, что имеет в виду автор, когда пишет, что достраиваемость “не связана напрямую с рекурсивией” (с. 65)» [14, с. 64].

Но если ключевая характеристика языка не имеет однозначного толкования, то определить, как она возникла в ходе эволюции: градуально или скачкообразно, очевидным образом, невозможно.

В том случае, когда лингвист строго формулирует характерное свойство языка или указывает, из какой теории он исходит, споров о том, как именно это свойство возникло в ходе эволюции, как правило, не возникает. Например, Хомский считает характерным свойством языка (“вычислительной системы... которая порождает неограниченное множество структурно организованных выражений” [4, с. 45]) его способность порождать рекурсивные выражения, т.е. способность **неограниченно** достраивать уже имеющееся выражение, сцепляя (merge) его с единицей словаря или другим выражением. Но рекурсивная синтаксическая структура не может возникнуть постепенно (а различные версии протоязыка в расчет не принимаются, поскольку они базируются на ограниченной операции сцепления).

Р. Джекендофф определяет язык сходным образом – как генеративную вычислительную систему, порождающую аналогичные выражения [11, с. 67]. Однако эти выражения уже не однослойны, как у Хомского, а трехслойны и содержат три структуры: фонологическую, синтаксическую и семантико-концептуальную. Кроме того, характерным свойством человеческого языка Джекендофф считает наличие у этих выражений синтаксической структуры: “синтаксический компонент является завершающей инновацией, так сказать, венцом эволюции языка” [11, с. 71]. Все это дает основание Джекендоффу утверждать, что язык мог формироваться

² Ср. название статьи Р. Джекендоффа [11]: “Your theory of language evolution depends on your theory of language”, а также наше суждение: описание “языковой эволюции должно опираться на какую-то общую теорию языка” [13, с. 64]. Там же мы подробно обсуждаем эту мысль.

поэтапно: сначала появляются фонологический и семантико-концептуальный уровни – и вместе с ними возникает протоязык, обладающий лишь элементарным синтаксисом, – а затем, возможно также поэтапно, формируется полноценный синтаксический уровень, завершающий эволюцию языка (подробнее о подходах Хомского и Джекендоффа см. в [13]). Наконец, Д. Бикертон, отталкиваясь от своего определения протоязыка – как лексического и асинтаксического, приходит к неизбежному выводу о скачкообразности образования синтаксиса: «Есть такая история, несомненный апокриф, про одно государство в Западной Африке, где зачем-то решили сменить правостороннее движение на левостороннее (или наоборот). Спикер правительства заявил, что водителям не о чем волноваться, “потому что изменения будут происходить постепенно”. Я уверен в том, что и переход от протоязыка происходил примерно так же, но без смертельных случаев <...> либо высказывание имеет иерархическую структуру, либо нет» [15, с. 257].

1.2. Эволюция лексических значений. Второе рассуждение рецензента на рассматриваемую тему посвящено моему анализу эволюции лексики. Поясню его кратко. Наиболее известные эволюционные лингвистические концепции (Н. Хомского [4], Р. Джекендоффа [11], Д. Бикертон [15]) являются синтаксоцентрическими. Все они исходят из того положения, что главная характеристика языка – синтаксис (иерархические синтаксические структуры фраз), а потому в формировании синтаксиса и заключается сущность языковой эволюции.

Наш подход, напротив, можно назвать лексоцентрическим. Мы считаем, что одним из характерных признаков человеческого языка является **многозначность** его лексики, точнее, способность носителя языка употреблять и понимать слова **в неограниченном числе новых переносных** (метафорических и метонимических) **значений**, никогда ранее **не встречавшихся ни говорящему, ни слушающему**. Например, к матери подбегает запыхавшийся, громко и часто дышащий сын, и она ему говорит: *Ах ты, моя собачка*, уподобляя сына их маленькой собачке, которая также громко и часто дышит (метафорический перенос). Через минуту об этом окказиональном употреблении слова *собака* уже никто не вспомнит. Благодаря данной способности множество различных переносных значений (окказиональных употреблений) слова становится

потенциально бесконечным³. При этом мы утверждаем, что переход от однозначного лексикона, соответствующего протоязыку, к многозначному лексикону полноценного человеческого языка осуществлялся скачкообразно, не градуально.

Анализируя данный подход, С.А. Бурлак пишет: Кошелев А.Д. «излагает свою точку зрения на эволюцию языка. По его мнению, главным переломным моментом, начиная с которого коммуникативная система превращается в настоящий человеческий язык, является обретение словами многозначности. Действительно, если, например, крик верветки обозначает орла (но не похожих на него крупных птиц-падальщиков), то в человеческом языке слова могут приобретать новые значения при помощи метафорических или метонимических переносов. В природных коммуникативных системах такого не отмечено, но в языковых проектах обезьяны недвусмысленно продемонстрировали способности к переносу значений: известный случай с шимпанзе Уошо, назвавшей не угодившего ей зрителя “грязным”, далеко не единственный <...> Представляется вероятным, что лексическая многозначность является простым следствием того, что главной движущей силой глоттогенеза является стремление получать информацию, и язык в результате оказывается способом, облегчающим “чтение мыслей” говорящего. В этой ситуации любое языковое выражение, в том числе и слово, может иметь столько значений, сколько слушающий готов допустить и понять; поэтому, в частности, контекстных синонимов у любого слова гораздо больше, чем словарных: при наличии контекста (или ситуационных подсказок) слушающий более успешно угадывает коммуникативное намерение говорящего, чем при предъявлении изолированных слов, поэтому при наличии таких подсказок говорящий может быть менее точен» [3, с. 58–59].

Такая трактовка содержит лишь половину “правды”, касающейся образования переносных употреблений слова. Действительно, слушатель

³ Поясним этот тезис. Свойство “громко и часто дышать” не является типичным для собак. В данном случае оно характерно лишь для собачки, которую знают мать и сын. Тем не менее слово *собака* способно его косвенно назвать. Следовательно, оно может называть в принципе **бесконечное** количество новых, уникальных свойств собак. Это и есть важнейшее свойство человеческой лексики, отличающее его от любых других систем знаков (коммуникативных систем животных, протоязыков, языков программирования, языков науки и пр.).

только благодаря контексту или известной ему ситуации может понять переносное употребление слова (как в примере *Ах ты, моя собачка*). Но есть и другая половина: механизмы образования переносных значений. Они подчинены **независимым от контекста** строгим правилам, налагающим запреты на многие, казалось бы, естественные употребления слова, которые слушающий вполне “готов допустить и понять”. Почти сто лет назад Л. Блумфилд заметил [16, с. 156], что львов и тигров можно метафорически назвать кошками, но волков нельзя назвать собаками. Запрет весьма неожиданный. Ведь волки, не будучи собаками, узнаваемо на них похожи. Другой пример. Почему-то некорректно яйцо назвать шаром, хотя и здесь налицо очевидное сходство форм.

Аналогично и с метонимией. Если в кастрюле закипает вода, греющаяся на плите, то вполне корректно сказать *Кастрюля кипит* (метонимия). Если же вода в той же кастрюле закипает от положенного в нее кипятильника, то эта фраза почему-то становится некорректной, хотя необходимая для образования метонимии “смежность” кастрюли и воды по-прежнему сохраняется. Точно так же употребить слово *тарелка* в метонимическом значении, сказав *Я съел тарелку сыра*, можно лишь в случае, если сыр заполняет тарелку мелкими кусочками. Если же он лежит в ней одним-двумя большими кусками, это употребление утрачивает корректность.

На наш взгляд, источник метафорических запретов в том, что называемый объект (волк, яйцо), хотя и относится к другой категории (это необходимое условие его метафорического именованья), **слишком** схож по форме с объектами основной категории слова (собакой, шаром). А метафора нацелена на “соединение” (фиксацию сходства) максимально далеких от основной категории, не схожих с ней объектов. Львы и тигры очень похожи на кошек, но одновременно и очень далеки от них. Но волк практически неотличим от собаки. Назвать его собакой – значит совершить номинативную ошибку: поименовать именем *собака* объект, не принадлежащий к категории собак. А как метафора такая номинация не воспринимается – ввиду предельного сходства волка и собаки. А вот енотовидная собака – это уже вполне корректное метафорическое название, поскольку это животное по своему внешнему виду (нечто среднее между енотом, кошкой и собакой) явно отличается от собаки (см. ее рисунок в моем послесловии [7 с. 742]). Понятно, что словом *собака*

можно метафорически назвать такие отличные от собак объекты, как человек, гусь⁴ и др.

Аналогично, если один из двух стоящих рядом кубиков имеет скругленные углы, его вполне можно метафорически назвать шаром: он похож и одновременно резко отличен от шара. Но яйцо своей формой предельно схоже с шаром, поэтому поименовать его словом “шар” – значит совершить аналогичную номинативную ошибку.

Эти примеры, кстати сказать, показывают, что полноценная метафора может возникнуть только на дискретных, строго отделенных друг от друга таксономических категориях объектов, на которых, кроме того, еще определено отношение “степень сходства”. Итак, метафора не просто фиксирует сходство именуемого словом “объекта-цели” с “объектом-источником” основной категории слова. Она содержит утверждение: ‘именуемый объект в целом не схож с объектом-источником, но имеет схожее с ним свойство’.

Источник метонимических запретов в другом. Для образования метонимии недостаточно одной лишь пространственной смежности. Необходимо еще, чтобы метонимически называемый предмет (кастрюля, сыр) образовывал **функциональную целостность, функционально взаимодействовал** с предметом-источником метонимии (кастрюлей, тарелкой). В случае, когда вода нагревается от кастрюли, такое взаимодействие есть и потому метонимия *Кастрюля кипит* корректна. Когда же кастрюля не связана с процессом нагревания воды, эта метонимия становится некорректной. Аналогичный случай – пример с тарелкой и сыром (см.: [7, с. 742–743]). Иначе говоря, метонимия не просто фиксирует смежность объектов. Она есть также **свернутое утверждение** о содержательном характере этой смежности.

Как мы видим, механизмы порождения переносных употреблений слова действуют независимо от контекста / референтной ситуации по своим собственным правилам. Стало быть, переносное употребление слова возникает в результате взаимодействия двух самостоятельно действующих факторов: контекста (ситуации)

⁴Ср. следующий анекдот. Немец, изучавший русский язык, приехал в русскую деревню проверить свои знания. В первый же день он встретил старушку, которая гнала гусей, крича им вслед: “Пошли вон, козлы поганые!”. “Бабушка, – спрашивает он, – почему ты гусей называешь козлами?” – “Да потому, что эти свиньи весь огород мне истоптали! Собаки!”.

и переносных (метафорических и метонимических) механизмов. А они-то и возникают скачкообразно (не градуально), см. анализ этого процесса в [12, с. 55–62].

1.3. Метафоризация vs сверхгенерализация. Ну, а как же сообщение рецензента о том, что шимпанзе Уошо метафорически назвала “не угодившего ей зрителя” знаком “грязный”? На наш взгляд, рецензент повторяет в своем отзыве очень распространенное заблуждение. Это не метафорическое употребление, которое “переносит” четкое **основное значение** слова *грязный* – свойство ‘покрытый грязью, т.е. размокшей от воды почвой’ – на объект с **другим** свойством – на не чистую (не свежую) одежду или безнравственного, аморального человека, а расширенное употребление исходно нечеткого значения обезьяньего жеста “грязный”. В самом деле, у обезьян исходное значение жеста “грязь” – ‘фекалии’⁵ – содержит также неотделимый компонент ‘плохой’. Поэтому разумно думать, что данный жест обезьяны используют и в “периферийном” употреблении, относя его к просто плохим, но не запачканным фекалиями, объектам: «к бездомным котам, надоедливый гиббонам и ненавистному поводку для прогулок. Коко (горилла. – А. К.) также называла одного из служителей “ТЫ ГРЯЗНЫЙ ПЛОХОЙ ТУАЛЕТ”» [18, с. 159–163]. Для человеческого языка это очевидно некорректная метафора⁶.

⁵ Однажды ассистент Р. Футс, наблюдавший за “говорящими” обезьянами, войдя в пустую комнату, обнаружил, что кто-то опорожнился прямо на пол, и быстро догадался, что это сделала шимпанзе Люси. Далее последовал такой разговор на языке жестов. Роджер: Что это? – Люси: Грязь, грязь. – Роджер: Чья грязь, грязь? – Люси: Сю... [17, с. 593].

⁶ Такая (неметафорическая) трактовка отвечает скептическому взгляду многих исследователей (Д. Бикертон [15, с. 82–100], С. Пинкера [19, с. 320–321], Е. Н. Панова [20, с. 15–16]) на языковые “успехи” обезьян. Вот что, к примеру, писал С. Пинкер: «Чтобы насчитать сотни слов обезьяньего словаря, исследователи также “переводили” указующее движение шимпанзе как жест *ты*, объятия как знак *обнимать*; подборание чего-либо с пола, щекотание и поцелуи как знаки *подбирать*, *щекотать* и *целоваться*... По некоторым оценкам (Pettito, Seidenberg 1979) при более строгих критериях истинное количество слов в лексиконе шимпанзе будет ближе к 25, чем к 125» [19, с. 321]. Но если обезьяна имеет столь ограниченный “лексикон”, то естественно предположить, что ее “слова” имеют не дискретные и четкие, а сверхгенерализованные значения-понятия, которые задают размытые категории объектов. А значит, порождать человеческие метафоры обезьяны заведомо не способны.

Сходные некорректные метафоры порождают дети до двухлетнего возраста. Так, Лиза Е. в полтора года словом *шар* (*сая*) называла яйцо, арбуз, маленький продолговатый кулон (“метафоры”), цепочку, на которой висел этот кулон (“метонимия”) [21, с. 87]. Однако специалисты по детскому языку называют это явление не метафорой или метонимией, а лексико-семантической сверхгенерализацией (*overextension*), см. [7, с. 735–139]. Конечно, здесь можно говорить о начальной активизации у ребенка будущих переносных механизмов, но не более того. Как мы уже убедились, приведенные детские словоупотребления весьма далеки от полноценных (“человеческих”) переносных словоупотреблений (см. об этом [7, с. 738]).

Итак, С.А. Бурлак не приняла во внимание ни прихотливость механизмов образования переносных значений, хотя о них подробно говорилось в нашем послесловии [7, с. 742–743], ни спорность трактовки некоторых “высказываний” шимпанзе Уошо и других обезьян, хотя эту проблему подробно обсуждает Е.П. Панов в своей книге [8, с. 367–377], в разделе “Шимпанзе у порога языка”⁷. Там он трактует псевдометафорические “высказывания” шимпанзе Уошо именно как “генерализации”, указывая при этом, что вопрос об их метафорической природе остается открытым.

В результате предложенная рецензентом трактовка процесса образования лексической полисемии оказалась в ряде аспектов искаженной.

1.4. Номинативный скачок. В заключение этого пункта отметим, что переход к лексической полисемии обеспечивается, наряду с мыслительным скачком (образование метафорической мысли), синхронным скачком и в области лексической номинации, а именно: появляется совершенно новый тип именования – косвенная (переносная) номинация. Поясним ее на простом примере. На начальном этапе усвоения лексики родного языка ребенок учится соотносить каждое усваиваемое слово только с “основными” референтами – объектами, относящимися к одной и той же категории (прямая номинация). Например, если он

⁷ Заметим, что данная монография Е.Н. Панова, в которой подробно рассказывается о серии американских проектов обучения обезьян “языкам-посредникам”, использующим жесты или лексигramмы, в первом издании появилась в далеком 1980 году – задолго до теперешнего бума вокруг эволюции языка (она выдержала семь переизданий и переведена на немецкий и чешский языки). Это было первое в России содержательное научное описание “обезьяньих” проектов.

усвоил прилагательное *красный*, он знает, что им можно называть только предметы красного цвета и потому розовый предмет неправильно назвать красным. И вдруг он слышит: *У твоего папы красный нос*. Ребенок смотрит на папин нос и замечает, что тот лишь слегка розовый. Для него это явное “нарушение конвенции”. На первых порах ребенок протестует против таких “неправильных” номинаций взрослых, ср.: «Особенно часто критикуют дети высказывания, в которых используются глаголы движения... в их производных значениях: “Молоко не может убежать, у НЕГО ЖЕ НЕТУ НОГ!”; “Дорога сбегает с горки. А что, разве у нее НОГИ есть?”» [21, с. 199–201], см. также [22, с. 113–114]. Однако через некоторое время ребенок каким-то непостижимым образом начинает понимать, что эти “неправильные” номинации правильны, но устроены по иному принципу (подчеркнем: никто ему это не объясняет). Более того, он и сам начинает употреблять известные ему слова в переносных значениях.

Рецензент пишет, что “при наличии контекста (или ситуационных подсказок) ... говорящий может быть менее точен”. Но сказать о бледно-розовом носе *красный* – это значит использовать не “менее точную” (градуальную), а качественно (скачкообразно) иную номинацию.

2. Эволюция языка: модульность или холистичность? Коснемся теперь комментариев Е.Н. Панова, содержащихся в его послесловии.

С.А. Бурлак не видит в них никакой пользы (они “не добавляют никакой новой информации”). Мы же, напротив, считаем их весьма ценными, поскольку они дают **альтернативный фитчевскому** взгляд на проблему эволюции языка.

Для У.Т. Фитча язык – это устройство, собранное “из старых компонентов с одним или немногими новыми дополнениями” [1, с. 401], причем каждый из этих компонентов “имеет, по-видимому, собственную эволюционную историю и базируется на собственных нейробиологических и генетических механизмах...” [1, с. 23].

Е.Н. Панов характеризует эту трактовку языка следующим образом: «Суть ее в том, что целое сводится к его частям, и свойство целого рассматривается как сумма свойств его частей. Как иначе можно истолковать заявление, согласно которому язык удобно считать “собранием сложных функциональных структур, которые оказались соединенными воедино в процессе эволюционного усложнения?”» [2, с. 661].

А вот позиция самого Панова: “На мой взгляд, язык в большей степени, чем какая-либо другая система, укладывается в иную, противоположную систему взглядов, согласно которой целое есть нечто большее, чем сумма его частей, предшествует им и познается через знание его частей (холизм). В языке, как и в органических системах вообще, увеличивается зависимость части от целого, тогда как зависимость целого от части, наоборот, уменьшается” [2, с. 661].

И далее научный редактор делает целый ряд поучительных сопоставлений: приводит примеры рассуждений Фитча, некорректные с позиций холистического подхода. Ограничимся лишь двумя из них.

1) Фитч: «Интересное явление в организации пения горбатого кита состоит в сходстве правил, используемых этим видом, с поэтическим творчеством человека. Речь идет о рифмах... и аллитерациях ... Возможно, эти правила служат китам своего рода “памятными записками” (*aide memoire*), облегчающими запоминание протяженных акустических “текстов”» [1, с. 213].

Панов: «Вот типичный пример приравнивания друг другу вроде бы “одинаковых признаков”, искусственно вырванных из целостных систем, которые базируются на столь разных сущностных основаниях, что едва ли сопоставимы в принципе» [2, с. 666].

2) Фитч видит глубокую аналогию между человеческой речью и пением птиц (там и там порождаются сложно структурированные звуки). Панов, напротив, указывает, что эта аналогия чисто внешняя, поверхностная, поскольку “функция речи – это трансляция осмысленных сообщений, чего, по мнению самого Фитча, нельзя сказать о песнях птиц...” [2, с. 668–669].

Проделанный Пановым сопоставительный анализ весьма полезен. Благодаря ему читатель теперь ясно видит исходные принципы и логику рассуждений и Фитча, и Панова. Соответственно у него появляется возможность осмысленного выбора той или иной точки зрения.

В этом противостоянии мы разделяем точку зрения научного редактора. Представлять язык в виде собрания совместно функционирующих модулей, да еще допускать, что каждый из них может иметь свою собственную эволюционную историю, – значит, радикально исказить природу языка и его эволюционную динамику.

Приведем здесь конкретное рассуждение, иллюстрирующее невозможность применения этого подхода при объяснении становления у слова переносных значений, рассмотренных в предыдущем пункте.

При появлении у ребенка новой речевой способности — умения порождать метафорические употребления слов — одновременно формируются (“эволюционируют”) по меньшей мере три “модуля”: когнитивный, логический (формирующий мысли) и речевой.

Во-первых, в долговременной памяти должна сформироваться строгая таксономия объектов окружающего мира, поскольку метафорически словом может быть назван только явно “чужой” (принадлежащий другой категории) объект. Например, только когда представления красного и розового цветов строго разделились, выражение *красный нос*, отнесенное к розовому носу, будет полноценной метафорой. Если же у ребенка они еще не разделились, то это детское выражение будет не метафорическим, а сверхгенерализованным.

Во-вторых, в отличие от прямой номинации (выражение *красный нос* отнесено к действительно красному носу), не содержащей никакого суждения (никакой мысли) и базирующейся исключительно на процедуре распознавания, метафора порождается мышлением и ее результат представляет собой мысль (два объекта, связанные некоторым отношением, согласно определению И.М. Сеченова [23, с. 277]). В данном случае эту мысль можно описать так: “цвет носа не красный, а какой-то другой, но он в некотором аспекте похож на красный цвет”.

В-третьих, возникает новый тип номинации: словом можно называть объект другой (не его) категории, который (в случае метафоры) схож в каком-то отношении с объектом своей категории. Поэтому розовый нос можно метафорически назвать красным. Подчеркнем: мы строго различаем две операции: образование метафоры в сознании говорящего и ее именование.

Сказанное позволяет утверждать, что эволюционируют одновременно не только эти три “модуля”, но и отношения между ними: логический модуль работает с новой версией когнитивного (со строгими категориями объектов), а результаты его работы сразу же называются посредством нового (косвенного) типа номинации. Ни о каких отдельных “эволюционных” историях, после которых обновленные модули должны еще как-то

прилаживаться друг к другу, “соединяться воедино в процессе эволюционного усложнения” [1, с. 23] здесь и речи нет.

Здесь кажется уместным сослаться на рецензию В.Б. Касевича, в которой анализируются, главным образом, лингвистические идеи монографии У.Т. Фитча. Итоговый вывод рецензента весьма созвучен критическим соображениям, высказанным Е.Н. Пановым и мною: “В целом приходится констатировать, что загадку сведения воедино разных компонентов языка в процессе антропогенеза Фитч не решает... Есть все основания опасаться, что, положив в основу гипотезы, развиваемые в монографии, и должным образом формализовав их, мы не сможем смоделировать компьютерными средствами ту самую эволюцию языка, которая дала название монографии” [24, с. 197].

3. Взаимный антагонизм теорий языка и пути его преодоления. Коснемся теперь взгляда У.Т. Фитча на центральную проблему современной лингвистики: совместное сосуществование множества различных, а в ряде случаев антагонистичных теорий языка (подробнее о нем см. в [10]). Как полагает Фитч, видимая противоречивость многих лингвистических теорий не носит фундаментального характера и в процессе дальнейшего развития вполне может быть преодолена путем их частичного объединения. Эту точку зрения он излагает уже на первых страницах своей монографии — в виде известной древнеиндийской притчи о слепцах и слоне. Аппелируя к этой притче, Фитч уподобляет лингвистов слепым людям, каждый из которых, ощупывая отдельную часть тела слона, полагает, что она и есть целый слон: “Один дотянулся до хобота и сказал, что это создание похоже на пожарный шланг. Другой стал ощупывать ухо и заявил, что он касается чего-то вроде опахала. Третий водил руками по ногам слона и решил, что они напоминают колонны. Еще один из любопытных похлопал животное по спине и остался в уверенности, что перед ним трон <...>”. Основной тезис этой книги состоит в том, что каждый из ученых ухватил некоторую истину о языке. Однако ни одна из этих истин не является полной. Изучение языка требует конвергенции и интеграции различных механизмов, каждый из которых необходим, но сам по себе, без участия других механизмов, не достаточен... Точно так же, как в притче о слоне, здесь **необходимо примирять идеи, казалось бы, противоречащие друг другу** [1, с. 19] (выделено нами. — А.К.).

Как мы видим, Фитч надеется составить новую теорию языка из разных кусочков уже существующих теорий. Но, как было подробно показано в [10, с. 3–10], эти теории исходят из различных, часто антагонистичных постулатов и имеют между собой мало общего. Поэтому реальное положение дел в современной теоретической лингвистике более адекватно отражает несколько иная притча. Слепцы ощупывают отдельные части не одного слона, символизирующего человеческий язык, а нескольких животных: слона, носорога, жирафа и др., символизирующих различные модели человеческого языка. Один из них ощупывает хобот слона, другой – рог носорога и т.д., полагая, что это одно и то же животное. Понятно, что в таком случае надежда на объединение их описаний в единую картину исчезающе мала.

В своем послесловии [7] мы стремились показать, что главная причина длящегося уже долгое время теоретического кризиса обусловлена односторонностью отдельных теорий языка, каждая из которых исследует свой аспект его функционирования, оставляя без внимания другие столь же важные аспекты⁸. Единственный выход из сложившейся ситуации состоит в том, чтобы начать построение всеобъемлющей, или эволюционно-синтетической теории языка, которая 1) охватывала бы не только синхроническое состояние языка, но и вопросы его эволюции и онтогенеза – поэтапного становления у ребенка, и 2) учитывала бы, наряду с собственно лингвистическим, также когнитивный (представление знаний о мире) и мыслительный компоненты, обеспечивающие в совокупности речевую деятельность человека.

Во второй части послесловия [7, с. 717–767] делается первый шаг в построении такой теории. А именно: строится начальный (ядерный) компонент диахронической и синтетической теории языка, описывающий период речемыслительного развития ребенка от 6-месячного до 4-летнего возраста. Далее этот компонент можно “растить” вверх и вширь, достраивая новыми составляющими и возрастными этапами развития ребенка.

4. Цели издания. В заключительной части своей рецензии С.А. Бурлак дает в целом негативную оценку работы переводчика и научного редактора

Е.Н. Панова. Не могу согласиться с этой оценкой, поскольку работа Панова стала важной концептуальной составляющей этого труда.

Для общей оценки издания нужно ясно понимать его цели. Дело в том, что сфера эволюции языка, которой посвящена монография У.Т. Фитча, является безусловным лидером по количеству одновременно сосуществующих в ней антагонистичных подходов. Так, касаясь многообразия теорий происхождения и эволюции языка, Д. Бикертон отмечает **“поразительное отсутствие консенсуса и несовместимость различных подходов, с которыми исследователи сталкиваются на почве языковой эволюции”** [27, с. 524] (выделено нами. – А. К.), см. также [28; 29]. И хотя многие из рассматриваемых здесь вопросов “дебатируются десятилетиями, конца этим спорам не видно” [1, с. 21].

Поэтому уже давно хотелось издать книгу, в которой все многообразие конкретных подходов к эволюции языка сводилось бы к двум-трем глобальным парадигмам. Монография Фитча оказалась весьма подходящим проектом для реализации этого замысла. Она, во-первых, содержит обширнейший мультидисциплинарный материал по данной проблеме, а во-вторых, написана с позиций модульного подхода к языку и его эволюции. Тем самым одна глобальная парадигма – модульный подход – в ней уже была представлена. Зная, что Панов придерживается диаметрально противоположных взглядов, я пригласил его сделать перевод и написать послесловие. В результате в книге появилась вторая глобальная парадигма – холистическая. Не знаю, мог ли кто-либо сделать это лучше.

Наконец, необходимо было включить обе эти глобальные парадигмы в рамки текущей ситуации, сложившейся в лингвистике и объемлющей ее когнитивной науке. В итоге появилось мое послесловие, в котором подробно проанализирован кризис (межконцептуальный антагонизм) как в теоретической лингвистике, так и в когнитивистике в целом. Намечен также некоторый путь выхода из указанного кризиса, а именно путь построения единой когнитивной парадигмы.

Этот замысел был в полной мере понят другим рецензентом – биологом Г. Ю. Любарским. Вот как заканчивается его рецензия:

«В этой книге сделана попытка создать плюралистическую монографию. Автор и сам очень терпимо излагает разные точки зрения и дает широкую панораму теорий. Но научный редактор

⁸ Более общие, исторически обусловленные причины данного кризиса, связанные с логикой развития наших знаний о человеке и его языке, подробно обсуждаются в наших статьях [25] и [26].

и составитель придерживаются иных, нежели автор, позиций, и сквозь книгу идут пометки, автора поправляющие, дополняющие и опровергающие, а в конце книги – послесловия научного редактора и составителя, которые объясняют, как все “на самом деле”... Так что на страницах книги идет научная полемика, спор между разными концепциями, и можно видеть, как критикуются, фильтруются, подбираются факты, как внешне блестящие теории вдруг, после десятков лет бесспорного доминирования, оказываются фактически необоснованными и напрочь забываются, как всплывают взгляды столетней давности и как новейшие факты встраиваются в различные теоретические рамки» [30, с. 47].

Именно такую “плюралистическую монографию” я и планировал издать.

В заключение хотелось бы выразить благодарность С.А. Бурлак за рецензию, написание которой потребовало от автора и большого труда, и обширной эрудиции. Мысли, критические замечания, высказанные в рецензии, интересные сами по себе, послужили (и, уверен, послужат далее) предметом пристального анализа эволюционистов. Важной составляющей рецензии стало указание на ряд терминологических и фактических ошибок, которые, увы, нам не удалось отсеять на этапе подготовки текстов к изданию. Утешением здесь может быть лишь то, что все эти ошибки будут исправлены в электронном издании книги, которое сейчас готовится, а также во втором издании, если оно состоится.

А.Д. Кошелев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фитч У.Т. Эволюция языка. М., 2013.
2. Панов Е.Н. Послесловие научного редактора // У.Т. Фитч. Эволюция языка. М., 2013. С. 657–674.
3. Бурлак С.А. Рецензия на книгу: Фитч У.Т. Эволюция языка, см. наст. изд. с. 55–62.
4. Chomsky N. Some simple evo-devo theses: how true might they be for language? // R. K. Larson, V. M. Déprez, H. Yamakido (eds). The evolution of human language: biolinguistic perspectives. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010. P. 45–62.
5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
6. Мюллер М. Лекции по науке о языке. М., 2009. (1-е изд. Лекции по науке о языке. СПб., 1865.)
7. Кошелев А.Д. Когнитивистика перед выбором: дальнейшее углубление противоречий или построение единой междисциплинарной парадигмы // У.Т. Фитч. Эволюция языка. М., 2013. С. 680–767 (<http://akoshelev.net>).
8. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки: коммуникация в царстве животных и в мире людей. М., 2011.
9. Панов Е.Н. Эволюция диалога. Коммуникация в развитии от микроорганизмов до человека. М.: Языки славянских культур. 2013.
10. Кошелев А.Д. Современная теоретическая лингвистика как Вавилонская башня // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2013. Т. 72, № 6. С. 3–22 (www.akoshelev.net).
11. Jackendoff R. Your theory of language evolution depends on your theory of language // R.K. Larson, V.M. Déprez, H. Yamakido (eds). The evolution of human language: biolinguistic perspectives. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.
12. Бурлак С.А. Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы. М., 2011.
13. Кошелев А.Д. О финальной стадии эволюции языка (лексико-семантический аспект) // Вестник РГГУ. Научный журнал. Серия “Филологические науки. Языкознание”. Вопросы языкового родства, № 10 (www.akoshelev.net).
14. Тестелец Я.Г. Бурлак С. А. Происхождение языка: Факты, Исследования, Гипотезы // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2013. Т. 72, № 6. С. 63–69.
15. Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. М., 2012.
16. Блумфилд Л. Язык. М., 2002.
17. Зорина З.А., Смирнова А.А. О чем рассказали “говорящие” обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? М., 2006.
18. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992.
19. Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2004.
20. Панов Е.Н. Парадокс непрерывности: Языковой рубикон. О непреодолимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека. М., 2012.
21. Елисеева М.Б. Фонетическое и лексическое развитие ребенка раннего возраста. СПб., 2008.
22. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.
23. Сеченов И.М. Избранные произведения. Т. 1. Физиология и психология / Ред. и посл. Х. С. Коштоянца. М., 1952.
24. Касевич В.Б. У.Т. Фитч. Эволюция языка // Журнал “Биосфера”, Т. 6, № 2, 2014.
25. Кошелев А.Д. Кризис когнитивной науки и его объяснение с позиций общей теории развития //

- Дифференционно-интеграционная теория развития, кн. 2, сост. Н.И. Чуприкова, Е.А. Волкова. М., 2014. С. 225–236.
26. *Кошелев А.Д.* Эволюция лингвистических парадигм в свете общей теории развития // Дифференционно-интеграционная теория развития, кн. 2, сост. Н.И. Чуприкова, Е.А. Волкова. М., 2014. С. 205–223 (www.akoshelev.net).
27. *Bickerton D.* Language evolution: A brief guide for linguists // *Lingua*. 2007. 117. P. 510–526.
28. *Hewes G.W.* Language origin theories // *Language learning by a chimpanzee: The Lana project*. N.Y., 1977.
29. *Козинцев А.Г.* Предыстория языка: общие подходы // *Российский археологический ежегодник*, Т. 1, 2010. С. 642–646.
30. *Любарский Г.Ю.* Эволюция языка и современная наука: прогресс и кризис // *Журнал “Химия и жизнь”*. № 3. 2014. С. 45–47.